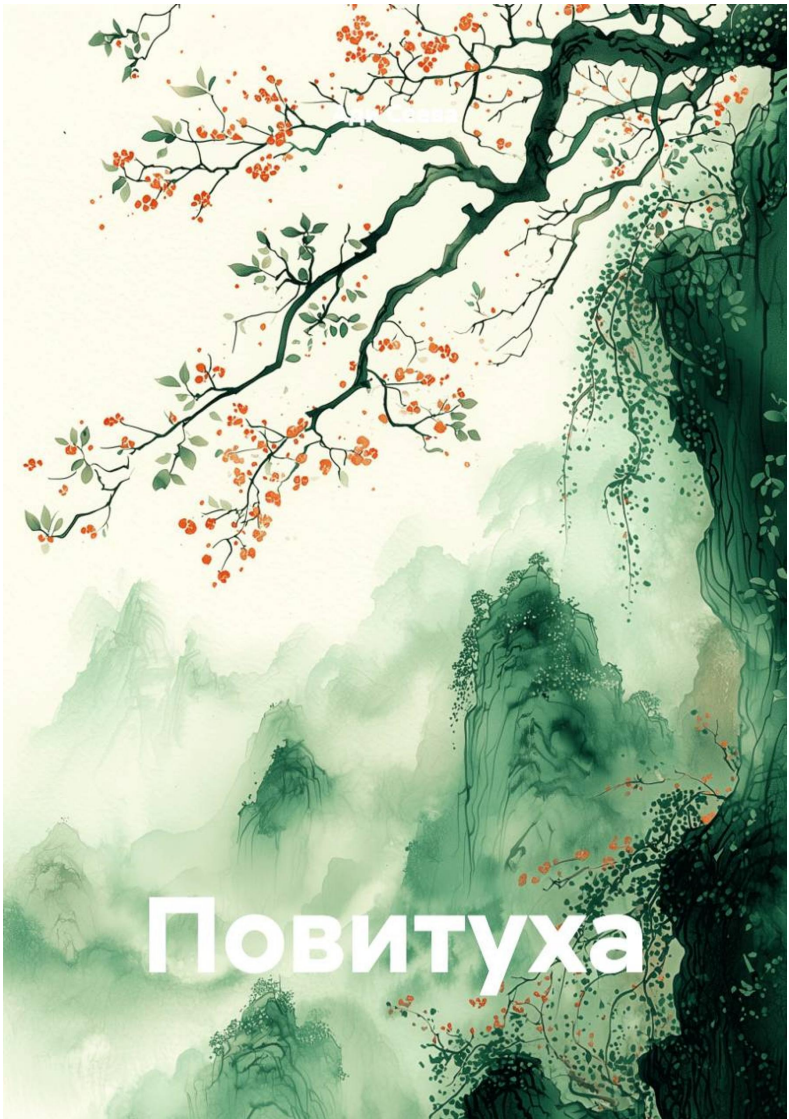

Повитуха

# Ади Сеева
# Повитуха

*https://litres.ru/74813373*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Шестнадцать лет Марен не возвращалась в Стиллевик — деревню у плотины, где воду нельзя тревожить, а прошлое принято хоронить молча. Теперь её старшую сестру Сольвей находят мёртвой у воды. Марен, ставшая акушеркой, приезжает на похороны и замечает то, чего другие предпочитают не видеть.

Чтобы понять, что случилось с сестрой, ей придётся вернуться к детской игре, закончившейся исчезновением девочки, и разобраться в старых обычаях Стиллевика. Здесь у каждого дома есть своя правда. И цена чужого молчания может оказаться выше, чем Марен готова заплатить.

# Ади Сеева
# Повитуха

## Пролог

Тьма ест деревню с восточного края. Сумерки сгущаются постепенно, будто оставляя всему остальному возможность сделать ещё пару вдохов, прежде чем от него останется только пустота. Стиллевик в это время суток особенно прекрасен — и ровно так же отталкивающ: в нём смешаны печаль поколений, никогда не покидавших эти холмы, бойкие крики местных петухов — особенно мелких и кусачих, — и спокойствие воды, которая, кажется, двигалась в последний раз века назад. Когда смотришь на здешние дома, тебе тоже хочется перестать двигаться. Слиться с этой землёй и стать частью молчаливых, поросших мхом валунов, которые выглядят так, будто ещё секунду назад говорили.

Тем удивительнее маленькие ростки жизни, что пробиваются из-за покосившихся заборов и стен некогда крепких, а теперь скорее древних и ненадёжных домов. Местные дети. Их много, они маленькие и юркие; вечером они покидают нехитрый уют, созданный для них родителями, и ускользают навстречу голодной тьме. Они не боятся тьмы — они её дети, они в ней выросли. Возбуждённо перешёптываясь, они

крадутся навстречу очередной своей игре, и со стороны их язык кажется выдуманным, известным только им, хотя говорят они на том же, что и взрослые в деревне — и даже что взрослые городка, до которого ещё нужно добраться вдоль запруды, а это миль восемь.

Среди них — я. Мне одиннадцать, и тьма ещё ни разу меня не догнала.

Я бегу четвёртой, и мокрая трава хлещет по щиколоткам, а мамины ботинки — на два размера больше — гремят на каждом шаге, как пустые вёдра, но останавливаться и поправлять их нельзя: отстанешь — достанешься тьме. Впереди мелькают острые лопатки Тильды. Она всегда прибегает первой, так устроен мир, и спорить с этим никому не приходит в голову. Добежав до кромки леса, она не валится в траву, как остальные. Она разворачивается и смотрит, как бежим мы.

На секунду я встречаюсь с ней взглядом, и мне становится не по себе. Однажды я нашла в лесу красивую птицу — она лежала в траве, изящно сложив крылышки, её клювик был багровым от крови, но глаза были открыты: в них не было блеска жизни, только остановившееся мгновение, секунда страдания, запечатлённая в зрачке. Глаза Тильды сейчас такие же — несмотря на влажный блеск, в них есть что-то нездешнее, пугающее. Внезапно мальчишка рядом со мной, Томас, спотыкается, и я вижу — медленно, словно сквозь толщу воды — его неловкий взмах руками, падение, и тон-

кие губы Тильды, растягивающиеся в улыбке.

Когда мы добираемся до Большого Корня, уже совсем темно. Мы снова справились, убежали от тьмы — как убегали дети до нас, и до нас, и самые первые дети Стиллевика, хотя я не знаю, когда это было. Игра существовала всегда — как предания, как рассказы вполголоса перед сном, как странное поведение взрослых перед днём Урожая.

Тильда добегает до дерева и хлопает ладонью по гладкому боку. Я отстаю на секунду, почти нагнав её под конец, — и она толкает меня локтем, и я, не успев восстановить дыхание, кубарем лечу между корнями, успев подумать: вот почему Большой Корень так называют.

Когда я отряхиваюсь, последние из ребят только добегают до дерева. Это наше место. Не то чтобы в стиллевикском лесу мало больших деревьев, но это — не просто большое: его корни похожи на клубок растревоженных змей, каждая толщиной с руку взрослого мужчины. Когда я была меньше, я часто пряталась между ними, как в кокон, — и помещалась с головой; я слушала мелодичный зов матери — «Мареееен» — и мне казалось, что зовут не меня, а кого-то другого. Мне нравилось притворяться, что это так.

Сейчас, в сумеречном осеннем лесу, эти корни похожи на волны тёмных вод. В Стиллевике только одна вода — наша запруда, и она всегда тиха и спокойна, поэтому волны я видела только на картинке в книге — и так до конца и не поверила, что такая вода действительно существует. На ветви,

раскинутые, будто руки старухи, мы залезаем молча: мы знаем — сейчас она расскажет правила. Внутри меня снова поднимается странное чувство. Колени саднят после падения, и я смотрю на неё почти с вызовом — но всё-таки больше со страхом.

Тильда, до того сидевшая и внимательно наблюдавшая за нами, встаёт.

— Сегодня мы будем проходить испытание на смелость, — говорит она и по очереди обводит нас взглядом. — Мы пойдём к воде и заставим её говорить с нами.

С ветвей и между корней проносится тихий шепоток. Кто-то неуверенно смеётся: — Тилли, ты ведь шутишь?

Она щурится. — Я пойду первой.

Каждый ребёнок в Стиллевике знает, что воду будить нельзя. Нельзя — не как нельзя дёргать петуха за хвост или заходить домой, перемазавшись в грязи. Не как прийти на пятничный праздник без волос, убранных в косу вокруг головы, или кинуть камушек в окно старой Эды. Это «нельзя» другой породы. Это совсем нельзя — как произносить имя матери Тильды, как ходить в лес одному, — для всех, кто не хочет сгинуть страшной смертью. Вода должна оставаться спокойной. В нашей запруде не рыбачат и не ходят на лодках без крайней нужды. В самое жаркое время года мы, как и взрослые, купаемся в ближней воде — той части озера, что одним боком выглядывает из леса. Мне нравится представлять, что когда-нибудь я наберусь смелости и поплыву

— дальше и дальше, по узкому протоку, прямиком до той самой воды, и — почему-то в этот момент я всегда вспоминаю Сольвей — окажется, что она ждёт меня там, прямо в глубине, и протягивает ко мне белые руки, и остаётся только нырнуть, чтобы избавиться от страха.

Мы не знаем почему, но все делаем то, что она говорит. Тильда умеет убеждать, всегда умела — да и много ли нам надо? Неуверенно переглядываясь, некоторые из нас поднимаются на ноги. Я замечаю, как по ноге Мелкой Бри, самой младшей и конопатой из нас, ползёт жук. Много лет спустя я буду вспоминать эту ночь и думать, что именно тогда всё и началось. Не тогда, когда я, спрятавшись у берега, следила, как Тильда осторожно ступает к воде, казавшейся в тот миг совершенно, антрацитово чёрной. И не тогда, когда гнилые доски впитали первую каплю крови.

Нет — для меня всё началось, когда жук пополз по грязной щиколотке Мелкой Бри, огибая косточку, как великана, невесть откуда взявшегося на пути.

И тут вода начинает стонать. Она стонет протяжно, словно от боли, но в этом звуке есть что-то настораживающее: к такому калеке не хочется подходить, потому что чувствуешь — у него в рукаве нож, и он только прикидывается больным. Тильда щурится — я вижу это даже в густеющих сумерках — и почему-то смотрит вдаль, на чёрно-розовое небо, которое уже почти померкло; лишь последние мазки розового дают надежду успеть домой до темноты.

Землеройка Тим поворачивается ко мне и шепчет: — Как думаешь, она слышит имена?

По легенде, в которую взрослые Стиллевика верят чуть ли не больше детей, в Проводы вода называет имена тех, кого заберёт с собой. Раз в год старый плотник и рыбак Хальвар берёт свой длинный шест с крюком на конце — и плывёт тревожить воду. Это можно делать только ему, и с этого часа взрослые и дети сидят по домам, боясь, что настал их черёд. Мама иногда шутила, что Проводы выпадают на самое противное время года, когда земля не успевает просохнуть от дождя и мокрые петухи выглядят особенно злобно, — потому, мол, все и сидят дома: кому охота месить грязь сапогами?

Так или иначе, Хальвар всегда выходит к плотине на своей лодке, с шестом; в деревне, говорят, ещё живы люди, видевшие это воочию в самый первый раз, — но, как мы ни пытали взрослых, мы ничего не узнали. Хальвар подцепляет крюком несколько досок, одну за другой вытягивая их из плотины, — и вода начинает говорить: её шум слышно, как нам кажется, во всей деревне. Ещё неделю она будет уходить сквозь дыру, проделанную Хальваром, унося с собой прошлое, а мы будем ставить на окно свечу и выкладывать три спицы, чтобы вода не забрала нас с собой. Считается, что души умерших в это время уносятся из Стиллевика, влекомые тягой плотины.

Лично я думаю, что все эти свечи взрослые ставят для нас. Плотина в неделю Проводов опасна для любого, кто попадёт в тягу: она затянет на дно и после вытолкнет ниже по тече-

нию — когда в лёгких уже не останется воздуха, а в глазах — блеска.

Я вздрагиваю, возвращаясь в реальность. Тильда резко оборачивается: — Тьма уже близко. Бегите, не то проиграете.

Стая, до того затаившая дыхание, срывается с места — словно вдруг вспомнив, что тьма уже ест деревню. Кажется, Мелкая Бри описалась: я вижу большое мокрое пятно на её платье. Дети со всех ног бегут по лесу — в сторону деревни, в сторону грубых от работы, но тёплых рук родителей, — пока тьма не догнала их.

— Марен, а, Марен.

Я застываю на месте.

На минуту вместе со мной застывает и всё вокруг: мошкара в воздухе, мостки, сырые хальваровы доски и складки на подоле платья Тильды.

Слышно только воду, с шумом прорывающую нехитрую преграду плотины — обходя оставшиеся доски скорее из уважения, чем от невозможности их преодолеть, а может, и унести с собой. Проходит вечность, прежде чем я пересиливаю страх и делаю несколько шагов вперёд, но Тильду это будто не заботит: она стоит, не оборачиваясь, не проверяя, не убежала ли я, — как всегда уверенная, спокойная, прямая. Она знает, что я не убегу. Откуда она это знает?

За все свои одиннадцать лет я впервые так близко к затвору. Сглатывая, я смотрю под ноги: до дыры, в которую с

рёвом уходит вода, остаётся несколько шагов. «Как же здесь высоко», — успеваю подумать я, прежде чем вижу острый нос Тильды и её немигающие глаза прямо перед своим лицом.

— Время пришло, маленькая Марен. Сегодня ты пройдёшь испытание и станешь достойна стаи.

Во мне что-то дёргается: ниточка желания, которую чувствуешь даже сквозь страх. Испытания Тильды — секрет похлеще рецептов старой Эды, легендарное посвящение детей Стиллевика во взрослую жизнь. Тильда придумала их пару лет назад, но всем говорила, что прочла о ритуале в старинной книге, украденной у Эды, — и потому малыши и дети постарше, все мы, считали его священным. Рассказывать о ритуале взрослым, разумеется, не разрешалось: все помнили печальную историю толстушки Дженны, которая рассказала своей не менее толстой матери о том, что должна пройти испытание, и была с позором лишена права ходить с нами к Большому Корню и быть членом стаи. Я помню круглые, полные слёз глаза Дженны, которая стояла в лесу на коленях перед Тильдой, со струйкой крови из носа, и словно без слов спрашивала нас: но я ведь всё сделала правильно? Мы ведь не должны были молчать об этом?

Тильда заставила её стоять на коленях до рассвета. Помню, как мать Дженны, комкая в руках грязный передник — видимо, готовила свои знаменитые на весь Стиллевик пироги, да так и осталась перемазанной в муке и ягодах, — ме-

талась по улицам, спрашивая у всех, не видали ли они малютку Дженни. Лес обыскали — докуда успели, пока тьма не съела деревню. Но место, где проходили наказания, было запрятано очень хорошо: оно находилось недалеко от запруды и всё же будто ускользало от взрослых — мы были уверены, что это часть тильдового колдовства. Той ночью от взрослых ускользнули и собственные дети: прильнув к окнам, они призраками следили, как тьма накрывает дом за домом и утробно урчит после каждого проглоченного куска. Никому не пришло в голову, что нам что-то известно: во-первых, мы перестали водиться с толстой Дженной после того случая, во-вторых, взрослые хорошо знали, что ни один ребёнок не останется в лесу после захода солнца. А ещё, кажется, они говорили про Хальвара — я помню их неодобрительный ропот, когда староста назвал его имя среди вызвавшихся искать Дженну.

Она вышла к деревне сама. Вышла — и просто села на сколоченную её отцом скамью возле дома; она была совершенно голой, как я узнала много позже из рассказа её соседа Тима — он вечно везде совал нос, потому его и прозвали Землеройкой. Её аккуратные косы были растрёпаны, тело измазано грязью, костяшки кулаков сбиты. Когда её мать вышла на улицу и осела на землю, схватившись за сердце, Дженна даже не шелохнулась. Ребята говорят, она с тех пор так и сидит — только в доме: умытая, расчёсанная, сильно похудевшая. С того дня Дженна не сказала ни слова.

— Марен. — Голос Тильды выталкивает меня из воспоминаний обратно на мостки. Я понимаю, что стою, крепко сжав кулаки.

— Я готова. Что нужно делать?

И только теперь я вижу, что у Тильды в руках. Это маленькая, очень красивая птичка с жёлтой головкой и нежным розово-серым оперением. В деревне её называют повитухой: считается, что если такая сядет на крышу именно твоего дома, это предвещает женщине удачу и скорое пополнение в семействе. Мама всегда улыбалась, слыша про это, заговорщически подмигивала мне и шептала, что повитух приманивает не что иное, как зерно, которое женщины, ползая, рассыпают по крыше в попытках приманить долгожданный приплод.

Обычно повитуха выглядит круглой, как шарик, но сейчас Тильда сжимает её в кулаке — чуть сильнее, чем нужно, чтобы удержать, — и тельце птицы вытягивается, приминаясь по бокам. Во второй руке Тильда держит увесистый камень.

Кровь приливает к моему лицу. В ушах ревёт то ли она, то ли вода в прорехе плотины.

Сейчас Тильда серьёзна; я чувствую её испытующий взгляд, нетерпение, запах её волос — как ветки можжевельника, которые мама клала рядом с моей кроватью, когда я болела. Я разжимаю кулаки и протягиваю руку за повитухой. Тильда кивает и отдаёт мне её — но в последний момент я так и не сжимаю пальцы: в надежде, что птица, почуяв сво-

боду, воспользуется ею и улетит. Но повитуха, издав негромкий писк, падает на мостки — и остаётся лежать, не поднимаясь, только жмурит глаза и немного шевелит клювом. Какое-то время мы молча смотрим на неё. Только сейчас я замечаю, что у птицы нет одного крыла: вместо него торчат покрытые грязью и кровью остатки перьев.

— Я так и думала.

Я поднимаю глаза от вздрагивающей птицы.

— Ты такая же трусливая, ничем не лучше других. Дженна хотя бы взяла камень. — Тильда говорит хрипло и отрывисто; видно, что она ждала другого и теперь справляется с разочарованием. — Но чему я удивляюсь. Твоя мать была такой же — трусихой, мягкотелой, слабой. Пока твой отец ходил от одной юбки к другой, пока это обсуждали даже на деревенских толчках — она терпела! «Как же, драгоценная Марен, я не дам тебя в обиду!» — Она изображает, как мать обнимает меня, присев рядом на корточки и поглаживая по голове. — «Мы обязательно уедем отсюда, Марен…»

Тильда поднимается на ноги и сплёвывает. Я ещё никогда не видела её такой злой. За её плечом мне на секунду чудится движение — будто по берегу промелькнула тень, но тут же устыдилась того, что потревожила заросли у Немой воды, и исчезла. Мои щёки пылают.

Тильда резко поднимает ногу и с размаху опускает её на мостки. Я слышу что-то похожее на хруст — но звука нет. Я вообще больше не слышу звуков: в ушах ревёт то ли кровь,

то ли вода, мир жужжит, гудит и поёт одновременно: Марен, а, Марен.

Последнее, что я помню перед тем, как мир меркнет, — торжествующую улыбку Тильды, которая вдруг складывается в удивлённую, идеально круглую букву «о».

И всплеск.